

М. А. ТУРЬЯН

ОБ ЭПИГРАФЕ К «БЕДНЫМ ЛЮДЯМ»: МОДИФИКАЦИИ РЕФЛЕКТИРУЮЩЕГО/«РАЗОРВАННОГО» СОЗНАНИЯ

«Бедные люди» — первое произведение Достоевского — открывается эпиграфом, взятым из рассказа Владимира Одоевского «Живой мертвец»: «Ох уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать что-нибудь полезное, приятное, усладительное, а то всю подноготную в земле вырывают!.. Вот уж запретил бы им писать! Ну, на что это похоже: читаешь... невольно задумаешься, — а там всякая дребедень и пойдет в голову; право бы, запретил им писать; так-таки просто вовсе бы запретил».¹

Первое впечатление от приведенных строк вызывает спонтанную ассоциацию с непосредственными предшественниками Достоевского Пушкиным и Гоголем, и даже более с последним, ибо «Бедные люди», как об этом неоднократно писалось, несут на себе явные черты прежде всего гоголевской стилистики. И тем не менее эпиграф этот не принадлежит ни Пушкину, ни Гоголю. Взятый из В. Одоевского, он является одним из немногих документальных свидетельств интереса Достоевского к этому писателю.

Проблема «Достоевский—В. Одоевский» не нова. К ней уже с разных точек зрения подходили исследователи, оценивая ее, однако, преимущественно в типологическом плане. Кроме того, следует признать, что все до сих пор сказанное представляет собой лишь более или менее частные подходы к теме, ожидающей еще целостного мировоззренческого и философского осмысления. На крайнюю ее важность указывал Г. М. Фридендер, обозначая генетическую связь произведений Достоевского с философско-интеллектуальной линией развития русской прозы.² Эпиграф к «Бедным людям» — яркое тому подтверждение, весьма симптоматично обозначенное молодым писателем буквально в первых же строках собственной литературной био-

¹ В комментарии к «Бедным людям» в ПСС кроме указанной не учтена еще одна неточность, допущенная Достоевским в воспроизведении текста Одоевского. Вместо: «Ох уж мне эти сказочники...» у Достоевского — инверсия: «...эти мне...», не соответствующая обеим редакциям «Живого мертвеца» (о них см. ниже. Ср.: 1, 480).

² Фридендер Г. М. О некоторых очередных задачах и проблемах изучения Достоевского // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1980. Т. 4. С. 15—18. См. также статью Л. А. Левиной в наст. издании. С. 139—152.

графии. Формально эта цитация выглядит также безусловной частностью. Однако, как представляется, в ней задан отчасти ключ к более широкому и принципиальному осмыслению проблемы в целом.

Итак, по каким бы причинам ни был выбран эпитафия к «Бедным людям», самый факт свидетельствует об одном: Достоевский внимательно прочитал «Живого мертвеца», и он отложился в его творческом сознании. Возникает естественный вопрос: когда это могло произойти? Для того чтобы ответить на него, следует напомнить, что рассказ Одоевского имеет две редакции, отличающиеся хотя и незначительной, но явной стилистической правкой.

Впервые «Живой мертвец» был опубликован во втором номере «Отечественных записок» за 1844 г. (с датой: 1838 г.); выпуск номера в свет — 3 февраля. Вторично рассказ появился в составе трехтомных «Сочинений» Одоевского, поступивших в продажу в августе 1844 г. Здесь он в заново отредактированном виде был включен писателем в последний том, в раздел под названием «Опыты рассказа о древних и новых преданиях». Разночтения интересующего нас отрывка (концовки рассказа) в сравнении с журнальным текстом хотя, повторяем, и невелики, однако вполне достаточны для того, чтобы со всей очевидностью обнаружить, что Достоевский воспользовался первым, журнальным, вариантом и затем, по выходе «Сочинений» Одоевского в свет, его не скорректировал. Это обстоятельство чрезвычайно важно, так как до сих пор все без исключения исследователи вопроса оперировали только второй редакцией «Живого мертвеца», вовсе игнорируя первую.

Между тем из сказанного следует один непреложный вывод: эпитафия к «Бедным людям» появилась на первом этапе создания романа — скорее всего, сразу или вскоре после знакомства с «Живым мертвецом», зимой 1844 г., т. е. именно в то время, которым сам писатель определил начало своей работы. Напомним — в «Дневнике писателя» за январь 1877 г. сказано: «В начале зимы я начал вдруг „Бедных людей“, мою первую повесть, до тех пор ничего еще не писавши» (25, 28). Так или иначе, но уже в феврале, в момент интенсивной работы над «Бедными людьми», рассказ Одоевского находился в поле зрения Достоевского. И это обстоятельство влечет за собой другой вопрос: случаен или не случаен был выбор писателя, и если не случаен, то какую сумму идей, соотносящихся с его собственными исканиями, мог почерпнуть Достоевский в только что прочитанном им «Живом мертвец»? В поисках ответа необходимо прежде всего обратиться к содержанию самого «Живого мертвеца» и уяснить себе его смысл.

В рассказе речь идет о некоем высокопоставленном чиновнике Василии Кузьмиче Аристидове, которому привиделся страшный, беспощадный сон, рисующий картину его собственной внезапной кончины. В этом сне душа его, отлетевшая от тела, свободно парит в пространстве, витая вокруг родных, друзей и сослуживцев, залетая и в далекие, полузабытые им уже места прежнего жительство и службы, и принимает самым разнообразным, как правило, неожиданным и убийственным для него отзывам. Устами окружавших его людей вскрывается «вся подноготная» его характера и поступков. Осознавая себя на протяжении жизни человеком в общем порядочным — не без мелких грешков, но

не хуже других, Василий Кузьмич ошеломлен: «Странно! ведь, кажется, что я такое на свете был? ведь если судить с благоразумной точки зрения, я не был выскочком, не умничал, не лез из кожи, и ровно *ничего* не делал, — а посмотришь, какие следы оставил по себе! и как чудно все это зацепляется одно за другое! Смотришь, в тюрьме сидит человек, и в глаза его не видал, — пойдешь добираться и доберешься, что все по моей милости! Иного за тридцать земель занесло — и опять по моей милости. Тут и вдовы, и сироты, и должники, и кредиторы, и старый, и малый — всё меня поминает, и отчего? всё от безделицы, право, от безделицы: уверяю вас, я человек прямой и откровенный, от почерка пера, от какого-нибудь слова, сказанного или недосказанного... Право, сил нет! индо страшно становится!». ³ Оказывается, что последствия «благих» дел Василия Кузьмича — в общем, частного лица из легиона ему подобных — охватывают широчайший диапазон, от судебных частных и мелких до исторических. По его невежественному распоряжению, например, в числе «хлама» — древних реликвий уничтожен и тем самым навсегда утрачен документ, имевший бесценное значение для отечественной истории. Или, скажем, именно он виновен тому, что сгублена и обесчещена его родная племянница Лиза. На ее судьбе необходимо остановиться особо. Сирота, она была доверена умирающим отцом своему брату, Василию Кузьмичу, однако тот и воспитанные им подобно себе сыновья обманым путем завладели состоянием Лизы и довели невинную, чистую девушку, оставшуюся без гроша, до полного отчаяния, связи с сомнительным «благодетелем»-вором, кстати, в качестве слуги прошедшим «школу» все у того же Василия Кузьмича, и в конце концов — до тюрьмы. Варенька Доброселова в «Бедных людях» — эта «девочка, оскорбленная и грустная», жертва социального неблагополучия и «злых людей» — прямая сюжетная реминисценция из «Живого мертвеца». Более того, таких реминисценций в романе Достоевского две. Вторая — в высшей степени интересный образ благородного «его превосходительства», известного своим отзывчивым сердцем и благими делами, вместо выволочки за служебную провинность дарящего Макару Девушкину ассигнацию. Невольно напрашивается мысль, что он — прямое продолжение «прозревшего» Василия Кузьмича, человека с разбуженной совестью.

Надо сказать, что и сам «Живой мертвец» также снабжен эпиграфом — и он несет на себе особую семантическую нагрузку. Исследователи указывали уже на его концептуальную соотнесенность с одним из основных философско-этических мотивов в творчестве Достоевского, правда, не касаясь при этом самих «Бедных людей». ⁴ Текст же эпиграфа принадлежит Одоевскому и гласит следующее:

« — Скажите, сделайте милость, как перевести слово солидарность (*solidaritas*)?

— Очень легко — *круговая порука*, — отвечал ходячий словарь.

³ *Одоевский В. Ф.* Повести и рассказы. М., 1959. С. 326—327.

⁴ *Назирова Р. Г.* Владимир Одоевский и Достоевский // Русская литература. 1974. № 3. С. 206; *Фридлендер Г. М.* О некоторых очередных задачах и проблемах изучения Достоевского. С. 17.

— Близко, а не то! Мне бы хотелось выразить буквами тот психологический закон, по которому ни одно слово, произнесенное человеком, ни один поступок не забываются, не пропадают в мире, но производят непременно какое-либо действие; так что ответственность соединена с каждым словом, с каждым, по-видимому, незначащим поступком, с каждым движением души человека.

— Об этом надобно написать целую книгу.

Из романа, утонувшего в Лете».

Следуя этому постулату, и описывает Одоевский прозрение Василия Кузьмича, вдруг ужаснувшегося своей жизни: «Я прежде думал, — восклицает он, — что совесть есть что-то похожее на приличие, я думал, это если человек осторожно ведет себя, наблюдает все мирские условия, не ссорится с общим мнением, говорит то, что все говорят, так вот и вся совесть и вся нравственность (<...> долгая, вечная жизнь предстоит мне, и мои дела, как семена ядовитого растения, — все будут расти и множиться!..».⁵

Идея «круговой поруки» в ее особом, разъясненном в эпиграфе к «Живому мертвецу» значении — одна из основополагающих нравственно-философских тем творчества Одоевского. В числе «инструментов», с помощью которых этот универсальный «психологический закон» приводится в действие, главенствующее место, по мысли писателя, занимает интеллектуальная интуиция как одна из форм самопознания. Именно в ней заложена важнейшая первопричина возникновения в человеческом сознании рефлексии, ведущей в крайних своих выражениях к его «раздвоению». Зародившись на раннем этапе, тема интеллектуальной интуиции получила в произведениях Одоевского мощное развитие в сложных и разнообразных формах — от случаев житейского, бытового предчувствия до мистического и психофизиологического, фрейдистского, в нашем нынешнем понимании, обнажения зловещих бездн человеческой души. Не случайно в трудах западных ученых уже поднимался вопрос об Одоевском как о художнике и мыслителе, предвосхитившем принципы фрейдистского психоанализа. В своих построениях Одоевский исходил из тезиса Ф. Шеллинга о тождественности сознательного и бессознательного в я, о проникновении бессознательной деятельности в сознательную, а также из провозглашенного философом диалектического единства добра и зла.⁶ При этом Одоевский указанные философские положения сильно «психологизировал».

Формальные опыты с «игрой» подсознания писатель продемонстрировал еще в «Пестрых сказках» (1833) — в небольшом рассказе «Игоша», построенном на изображении состояния полусна-полуяви, в котором живет маленький герой, уверовавший в реальное существование мифического Игоши — персонажа фольклорной былички. Тяготение к стихии фольклора, где «таинственное» и «естественное» существуют как нечто единое, как нераскрытая, непознанная глубина

⁵ Одоевский В. Ф. Повести и рассказы. С. 306, 329.

⁶ Шеллинг Ф. В. Й. Соч.: В 2 т. М., 1987. Т. 1. С. 472—474.

природы и человеческой психики, оказалось необыкновенно привлекательно и для Достоевского. Уже в «Бедных людях» он использовал, в частности, и элементы фольклорной модификации рефлектирующего сознания — самый семантический смысл имен его героев соотнесен с фольклорной традицией и устной народной культурой.⁷

Творческая практика Одоевского, одного из немногих у нас писателей со столь ярко выраженной философской индивидуальностью, не отмеченная, быть может, гениальными озарениями, отличалась вместе с тем поразительным разнообразием рационально выстроенных художественно-философских систем. Зная, как глубоко изучил Одоевский философию мистиков — причем, что существенно важно, «рациональное» ее крыло, обозначенное именами Т. Парацельса, Дж. Пордеча, К.-Л. Сен-Мартена и других, бывших также и учеными-естественниками, нетрудно понять, почему он с такой легкостью и последовательностью транспонировал в своих произведениях занимавшие его идеи из мистического контекста в естественнонаучный или социально-бытовой. В высшей степени примечательно, что в том же 1838 г., когда был написан «Живой мертвец», появился в печати и его «мистический» этюд «Орлахская крестьянка», построенный на том самом законе «круговой поруки», о котором говорится в эпиграфе к «Живому мертвецу», предопределившем и само содержание рассказа. Известно, что этот закон, выраженный в системе мистических понятий как некая иррациональная закономерность, во многом избрал в себя сумму эмпирических наблюдений древних и был позднее сформулирован учеными как закон причинно-следственных связей. В свете этого особенно важно, что сюжетно «Орлахская крестьянка» опирается на реальный факт, заинтересовавший Одоевского своей исключительностью с точки зрения психофизиологической, но как раз в силу этой самой исключительности, «фантастичности» описанный им в стилистике мистико-фольклорного повествования.⁸ Естественнонаучные акценты, расставленные писателем в рассказанном сюжете, безусловно не снимают вопроса и о присутствующих в нем провиденциальных мотивах. Однако, скажем, важнейший из них — мотив кармы, воплотившийся в провидческих прозрениях героини, которой открывается нерасторжимая связь ее собственной судьбы с судьбой «сестры», жившей за 400 лет до нее, представлен здесь вовсе не как результат мистической инициации, но как психофизиологическое свойство эпилептического сознания (героиня страдала «падучей»), «раздваивающегося» лишь во время приступов, т. е. в минуты наивысшего нервного напряжения. На несомненную внутреннюю связь «Орлахской крестьянки» и «Живого мертвеца» указывает тот факт, что рассказчик истории Энхен Громбах Валкирин также предваряет свое повествование рассуждениями

⁷ Владимирцев В. П. Опыт фольклорно-этнографического комментария к роману «Бедные люди» // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1983. Т. 5. С. 74—89; Шестопалова Т. А. Традиции народного сказа в романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди» // Литературные отношения русских писателей XIX—нач. XX в.: Межвузовский сб. науч. трудов. М., 1995. С. 130—148.

⁸ Подробнее см.: Турьян М. А. «Странная моя судьба...»: О жизни Владимира Федоровича Одоевского. М., 1991. С. 305—308.

о «круговой поруке», почти текстуально совпадающими с эпитафией к «Живому мертвецу», в котором, сверх того, присутствует и персонаж с тем же именем Валкирин — в качестве защитника Лизы.

Такого рода игра мистическим, физиопсихическим и социально-бытовым планами пронизывает почти всю интеллектуальную прозу Одоевского. За несколько лет до того тема «раздвоенного» сознания была задана им и в одной из новелл о «гениальных безумцах» — «*Orpè del Cavaliere Giambattista Piranesi*» (1832) — и параллельно «проиграна» в бытовом рассказе «Бригадир» (1833) как история разбуженной совести «русского Пиранези»: тема, прямо развитая затем в «Живом мертвеце».

В наиболее полном виде эти идеи разработаны Одоевским в одном из центральных его сочинений — диалогии «Саламандра» (1841), представляющей собой сложный философский конгломерат мистических, социальных и исторических идей. Не касаясь сейчас всей совокупности этих проблем, стоит тем не менее обратить внимание на то, что герой диалогии Якко, подобно Макару Девушкину, человек социально ущемленный, с «амбицией», и что его мистическое «раздвоение» таит, по сути, в своей основе все ту же причину: рефлексию пробудившегося, растревоженного сознания. Более того, «Саламандра» охватывает тот круг провиденциальных, психофизиологических и социально-исторических идей, которые разрабатывались затем Достоевским. Здесь также присутствует и идея кармы, но опять-таки в ее нравственном осмыслении, с которым корреспондирует последнее восклицание Василия Кузьмича: «Боже! неужели для меня не будет ни *суда*, ни *казни*!».

Все это как нельзя более разъясняет смысл того «психологического закона», о котором идет речь в эпитафии к «Живому мертвецу», закона, предполагающего не только фатальную вневременную и внепространственную связь человеческих слов и поступков, но и ответственность за содеянное. И становится совершенно понятным, почему сложный его контекст не покрывается банальным словом «солидарность».

Сознание Макара Девушкина, как и сознание Василия Кузьмича, тронуты еще только рефлексией. Но уже Голядкин, подобно Якко, воплощает следующую ступень рефлектирующего сознания — его «раздвоение», при всей разнице так же фантастическое по форме и так же опирающееся на социальные и психологические предпосылки.

Мистическая идея кармы была трактована Одоевским не просто как универсальный закон «круговой поруки», закон причинно-следственных связей; механизм действия этого закона он понял как *психологический процесс самопознания*, ведущий к «прозрению» — зачастую трагическому, порождающему *нравственный феномен* разбуженной, растревоженной совести — то, что он назвал «нравственным инстинктом».⁹ Именно это Одоевский со всей наглядностью продемонстрировал в «Живом мертвеце», прибегнув к методу рефлексии или, если угодно, психоанализа, что и представило, безусловно, для Достоевского первостепенный интерес — как в качестве принципиальной, организующей

⁹ Одоевский В. Ф. Психологические заметки // Одоевский В. Ф. Русские ночи. М., 1975. С. 204.

идеи, так и в качестве возможного образца для ее воплощения. Ведь сразу по выходе «Бедных людей» он так, по существу, и объяснил коренное отличие своего метода от гоголевского. В письме к брату от 1 февраля 1846 г. Достоевский писал: «Во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую Анализом, а не Синтезом, то есть иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое, Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубок, как я» (28₁, 118). При этом нелишне вспомнить, что, по свидетельству В. Вольфсона, Одоевский, без сомнения точно уловивший созвучный ему новаторский смысл «Бедных людей», считал, что «границы возможности начинающего Достоевского более широки, чем у Гоголя».¹⁰ Думается, в числе «прочих», упомянутых Достоевским в письме к брату, был, несомненно, и он, также разобравший «по атомам» своего героя в «Живом мертвце» и приведший его к тому «целому», которое есть разбуженная совесть и мысль о нравственной ответственности за все, совершенное в жизни, — мысль, воплощенная, кстати, затем и Л. Н. Толстым в «Смерти Ивана Ильича».

«Живой мертвец», художественно несовершенный, тем не менее по заложенной в нем идее послужил Достоевскому мощным катализатором. Эпиграф к «Бедным людям» был выбран им продуманно и точно, нацеливая читателя на главное, что заложено в романе, — на «подноготную» жизнь человеческого духа и сознания.

Может быть, косвенным подтверждением сказанному могут служить и скупо сохранившиеся свидетельства восприятия Достоевским самой личности Одоевского. Уже в самом начале их знакомства знаком «глубочайшего уважения» отмечена дарственная надпись Одоевскому на отдельном издании «Бедных людей». Нет сомнения, что кажущуюся трафаретность этих слов следует понимать не в их стертом, но в буквальном значении, подтвержденном спустя много лет резкой отповедью Достоевского сотруднику «Времени» Ф. Н. Бергу, позволившему себе некорректный отзыв об одной из популярных книжек для народа, какие писал в то время Одоевский: «Положим, Вы правы, — выговаривал своему корреспонденту Достоевский, — но книга составлена была честнейшим человеком и, главное, замечательнейшим деятелем во время всеобщего гнета над литературой, принесшим ей много пользы и многим ей пожертвовавшим (...) К чему же огорчать человека, которого *все* уважают и про которого во всю *честную* жизнь его никто не сказал ничего дурного, а даже совершенно напротив» (28₂, 18).

Вместе с тем смысл сделанного Достоевским выбора заключает в себе и несомненные элементы полемики, которая состоит не только в том, что интеллектуальная проблематика может быть опущена в бытовой регистр и что идеи, интерпретированные как мистические, могут быть проиграны и на бытовом материале, — это делал уже сам Одоевский. Дело в ином.

Собственно, форма романа «Бедные люди» в ее классическом выражении — это форма *интеллектуального романа* в письмах, кото-

¹⁰ Цит. по: Достоевский в Германии (1846—1921) / Обзор В. В. Дудкина и К. М. Азадовского // Лит. наследство. М., 1973. Т. 86. С. 659.

рому «Бедные люди» по своему социальному и духовному уровню явно не соответствуют.¹¹ Выбранный же Достоевским эпитаф как раз и подчеркивает, с одной стороны, соотнесенность с традицией, но одновременно и отталкивание от нее — вернее, ее деформацию, всегда предполагающую некое отрицание. Новаторство Достоевского выразилось в том, что, по его мысли, сознание «маленького» человека развивается по тем же общим психологическим законам, что и сознание героев высокой литературы, и ценностная шкала, выстроенная в романе, оправдывается изнутри ее психологическим содержанием. Ведь Макар Девушкин на своем уровне, но также ощущает себя частью и универсума — Божьего мира с его солнцем, пением птичек или дурной погодой, и хоть незначительным, но необходимым, неотъемлемым винтиком социальной структуры общества и социальной иерархии. В этом, в частности, заключена внутренняя полемика с введенной Одоевским искусственной «фантастической» формой «Живого мертвеца». Нет нужды вырывать «всю подноготную» из-под земли под влиянием прочтенной «фантастической сказки»: «фантастическое» здесь, на земле, рядом с нами — и в нас самих.

Именно в таком, полемически скорректированном смысле характерное ключевое словечко Одоевского «подноготная» вновь всплыло в художественном сознании Достоевского более чем десятилетие спустя — в процессе его работы над романом «Униженные и оскорбленные», типологически и реминисцентно тесно связанным с «Бедными людьми». Это словечко вложено здесь в уста порочного князя Валковского, уже с цинической прямоотой предлагающего «вырывать всю подноготную» не из-под вуали фантастических видений, но в реальных и мутных безднах человеческой души. «Если б только могло быть (чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может), — разглагольствует он, — если б могло быть, чтоб каждый из нас описал *всю свою подноготную*, но так, чтоб не побоялся изложить не только то, что он боится сказать и ни за что не скажет людям, не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе, — то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться» (З, 361. Курсив мой. — М. Т.).

Эта, казалось бы, частная, но чрезвычайно важная и красноречивая деталь служит еще одним убедительным аргументом в пользу того, что творческая преемственность Достоевского по отношению к Одоевскому была прежде всего глубинной и последовательной преемственностью идей.

¹¹ См. Шестопалова Т. А. Традиции народного сказа в романе Ф. М. Достоевского «Бедные люди». С. 137. Не исключено также, на наш взгляд, что одним из источников «драматической стихии» (М. П. Алексеев) «Бедных людей» — их «диалогической» формы — мог оказаться и «Живой мертвец», в повествовательную структуру которого Одоевский ввел прием типично театральной выразительности — драматургически разработанные сцены.